

Рим, 9 января 1883 г.

Несколько месяцев назад я встретился с моим другом, Юзефом Снятынским, который в последнее время занял видное место среди польских писателей. Мы беседовали о литературе, и Снятынский сказал, что он придает величайшее значение всяким мемуарам. По его мнению, человек, оставивший после себя дневник, как бы он ни был написан, хорошо или плохо, лишь бы искренне, передает будущим психологам и писателям не только картину своей эпохи, но и правдивый человеческий документ, единственный, которому можно верить. Снятынский утверждает, что в будущем дневники и мемуары станут главнейшей формой повествования, что вести дневник — заслуга перед обществом, и человек, который трудится таким образом для общества имеет право на его признательность.

И вот, так как я дожил до тридцати пяти лет, но не помню, чтобы до сих пор сделал что-нибудь для нашего общества (хотя бы уже потому, что по окончании университета почти постоянно, с небольшими только перерывами, жил за границей), и так как — хотя говорю я об этом в тоне юмористическом и, как губка, весь пропитан скептицизмом — в сознании своей бесполезности есть немало горечи, я решил вести дневник. Если это и в самом деле труд для общества и заслуга перед ним — пусть я хоть таким путем буду ему полезен.

Хочу, однако, быть до конца искренним: за дневник я принимаюсь не только из таких соображений, но и потому, что идея эта меня занимает. Снятынский уверяет, что

когда заведешь привычку записывать свои мысли и впечатления, это становится любимейшим делом в жизни. Если со мной произойдет обратное, то бог с ним, с дневником! Не буду обманывать себя — я уже предвижу, что тогда дело лопнет, как слишком туго натянутая струна. Для общества я готов на многое, но скучать ради него — ну нет, на это я не способен.

Впрочем, я решил не пугаться первых трудностей. Постараюсь привыкнуть и войти во вкус этого занятия. Снятынский во время наших бесед беспрестанно твердил мне: «Только не гонись за стилем! Не пиши литературно». Легко сказать! Я хорошо знаю, что чем писатель талантливее, тем меньше в его писаниях «литературности». Но я-то — дилетант и не владею формой. Знаю по собственному опыту: человеку, который много думает и сильно чувствует, часто кажется, что стоит только попросту записать свои мысли, и получится нечто незаурядное, а между тем как только за это примешься, невольно начинаешь подражать каким-либо стилистическим образцам, и хотя бы человек писал только для себя, он безотчетно принимает какую-то позу и ударяется в банальное фразерство. Мысли его не желают переходить на бумагу, и, можно сказать, не голова управляет пером, а перо — головой, и притом с пера текут такие плоские, пустые, фальшивые слова! Этого-то я и боюсь. Боюсь главным образом потому, что если мне не хватает навыков, красноречия, настоящей художественной простоты и так далее, то вкуса у меня, во всяком случае, достаточно, и стиль моего писания может опротивить мне до такой степени, что писать станет просто невозможно. Ну, да там видно будет! А пока я хочу сделать краткое вступление к своему будущему дневнику — сообщить кое-что о себе.

Зовут меня Леон Плошовский, и мне, как я уже упоминал, тридцать пять лет. Я из довольно богатого рода, сохранившего до последнего времени состояние далеко

не среднее. Я же, несомненно, фамильного состояния не умножу, но зато и не промотаю его. Положение мое в обществе таково, что мне нет надобности карабкаться вверх или покупать себе какие-то привилегии. Ну а разорительные и разрушительные наслаждения... Я ведь скептик и знаю всему истинную цену, вернее говоря — знаю, что все в жизни ни черта не стоит.

Мать моя умерла через неделю после моего рождения. Отец любил ее больше жизни, и после ее кончины у него часто бывали приступы тяжелой меланхолии. Излечившись от нее в Вене, он не захотел вернуться в свое родовое поместье, где воспоминания разрывали ему сердце. Он отдал Плошов своей сестре, моей тетушке, а сам в 1848 году поселился в Риме и безвыездно живет в этом городе больше тридцати лет, не желая расставаться с могилой моей матери. (Я забыл упомянуть, что он перевез гроб с ее телом из Польши в Рим и похоронил ее на Кампо Санто.)

В Риме у нас на Бабуино собственный дом, называется он «Каза Озориа» — по нашему фамильному гербу. Дом этот немного напоминает музей, у отца собраны здесь коллекции поистине замечательные, и особенно богато представлены первые века христианской эры. Теперь эти коллекции составляют главное содержание его жизни. В молодости отец был человек выдающийся по уму и внешности. И так как притом знатность и большое состояние открывали перед ним все дороги, ему предсказывали блестящее будущее. Я слышал это от его товарищей по Берлинскому университету. В те времена он усиленно изучал философию, и все утверждали, что имя его со временем станет по меньшей мере столь же знаменито, как имена Цешковского¹, Либельта² и дру-

¹ Цешковский Август (1814—1894) — польский философ и экономист.

² Либельт Кароль (1807—1875) — польский философ и эстетик, литературный критик и публицист.

гих. Светская жизнь и неслыханный успех у женщин отвлекли его от серьезной научной работы. В светских гостиных его называли *Léon l'invincible*¹. Впрочем, успехи эти не мешали ему по-прежнему заниматься философией, и все ожидали, что не сегодня-завтра он выпустит в свет замечательную книгу, которая принесет ему всеевропейскую славу.

Ожидания эти не сбылись. А от блистательной внешности и в старости оставалось еще кое-что — я в жизни не встречал головы благороднее и прекраснее. Художники того же мнения, и еще недавно один из них говорил мне, что более совершенный тип патриция трудно себе представить. В науке же отец был, есть и останется только очень способным и высокообразованным шляхтичем-дилетантом. Я склонен думать, что дилетантизм — удел всех Плошовских, и подробнее скажу об этом в дневнике тогда, когда придется говорить о самом себе. Об отце же скажу еще, что он хранит до сих пор в ящике письменного стола свой пожелтевший от времени философский трактат «О троиственности». Я эту рукопись как-то перелистал — и она нагнала на меня скуку. Помню только, что в ней сопоставляется троица реальная — кислород, водород и азот — с троицей трансцендентальной, выдвинутой христианским учением в виде понятия о божестве-отце, божестве-сыне и духе святом. Кроме того, отец приводит множество примеров подобных же троиц — начиная с добра, красоты и правды и кончая логическим силлогизмом, слагающимся из посылки большей, посылки меньшей и вывода, — удивительная мешанина идей Гегеля с идеями Гене-Вронского², теория весьма сложная и абсолютно бесплодная. Я убежден, что отец никогда не станет этого печатать, хотя бы уже потому, что разочаровался

¹ Леон Непобедимый (*фр.*).

² Гене-Вронский Юзеф Мария (1776—1853) — польский философ, математик, астроном.

в умозрительной философии еще раньше ее банкротства во всем мире.

Причиной этому была смерть моей матери. Отец, вопреки своему прозвищу Непобедимый и репутации покорителя сердец, был человеком в высшей степени чувствительным и мать мою просто боготворил. Потеряв ее, он, вероятно, искал в своей философии ответа на многие «проклятые» вопросы и, не найдя в ней ни ответа, ни утешения, понял, как она пуста, как бессильна перед горестями жизни. Да, он, должно быть, пережил ужасную трагедию, лишившись сразу двух жизненных опор; сердце его было растерзано, ум потрясен. Тогда-то он и впал в меланхолию, а когда излечился от нее, вернулся к религии. Мне рассказывали, что одно время он дни и ночи проводил в молитве, на улице становился на колени у каждой церкви и доходил до такого религиозного экстаза, что в Риме одни считали его помешанным, другие — святым.

И, видно, он обрел в религии большее утешение, чем в своих философских «троицах», ибо постепенно успокоился и вернулся к действительности. Всю нежность своего сердца он изливал на меня, а его эстетические и умственные интересы сосредоточились на первых веках христианства. Ум его, живой и острый, требовал пищи. На второй год жизни в Риме он занялся археологией и другими науками, знакомящими с культурой древних времен. Мой первый гувернер, патер Кальви, очень хорошо знавший Рим, склонил отца к изучению Вечного города. Лет пятнадцать назад отец познакомился и подружился с великим Росси, и оба они целые дни проводили в катакомбах. Благодаря своим незаурядным способностям отец скоро так изучил Рим, что удивлял своими познаниями самого Росси. Он не раз принимался писать о Риме, но почему-то никогда не доводил начатого до конца. Быть может, все время уходило у него на пополнение коллекций. И, вернее всего,

он не оставит после себя ничего, кроме этих коллекций, потому что не ограничился изучением одной эпохи и не избрал себе одну какую-нибудь специальность. Постепенно средневековый Рим баронов заинтересовал его не меньше, чем первые века христианства. Одно время он был поглощен только историей родов Колонна и Орсини, потом занялся эпохой Возрождения и увлекся ею до самозабвения. От изучения надписей, гробниц, первых памятников христианской архитектуры он перешел к позднейшим временам, от византийской живописи — к Фьезоле и Джотто, от них — к другим художникам XIV и XV веков; любовно собирал картины, скульптуру. Его коллекции, несомненно, выиграли от этого, но задуманное им великое произведение на польском языке — книга о трех Риммах — так и осталось в числе неосуществленных замыслов.

Относительно своих коллекций у отца родилась прелюбопытная идея: он хочет завещать их Риму, но с тем условием, чтобы их поместили в отдельном зале с надписью над входом: «Музей Озориев-Плошовских». Разумеется, воля его будет исполнена. Странно только, что отец уверен, будто таким образом он окажет своим соотечественникам бóльшую услугу, чем если бы перевез эти коллекции в Польшу.

Недавно он сказал мне:

— Понимаешь, там их никто не увидит и никому от них не будет пользы, а в Рим приезжают люди со всего света, и каждый из них, побывав в этом музее, припишет всему польскому народу заслугу одного поляка.

Нет ли тут доли фамильного тщеславия и не повлияла ли на решение отца мысль, что имя Плошовских будет высечено на мраморе в Вечном городе? Мне, его сыну, неудобно в этом разбираться. Однако скажу прямо — по-моему, так оно и есть. Ну а мне, в конце концов, довольно безразлично, где будут находиться отцовские коллекции.

Зато мою тетушку (к которой я, кстати сказать, на днях еду в Варшаву) глубоко возмущает намерение отца оставить навсегда свои коллекции в Риме. А тетушка — такая женщина, которой ничто на свете не может помешать высказать напрямик то, что она думает. Вот она и выражает свое негодование без всяких обиняков в каждом письме к отцу. Несколько лет назад она приезжала в Рим, и тогда они с отцом каждый день спорили по этому поводу и, быть может, поссорились бы окончательно, если бы безмерная привязанность тетушки ко мне не умеряла ее запальчивости.

Тетушка несколькими годами старше моего отца. Уезжая из Польши после постигшего его несчастья, отец при разделе имущества взял свою часть деньгами, а ей оставил родовое поместье Плошов. Тетушка хозяйничает там вот уже больше тридцати лет, и хозяйничает превосходно. Она женщина в своем роде замечательная, и потому я скажу о ней несколько слов. В двадцать лет она была помолвлена с одним молодым человеком, а он умер за границей как раз тогда, когда тетушка собралась ехать к нему. С тех пор она отказывала всем, кто к ней сватался, и осталась старой девой. После смерти моей матери она сопровождала отца в Вену, а потом в Рим, где прожила с нами несколько лет, окружая брата самыми нежными заботами. Любовь эту она потом перенесла на меня. Она настоящая *grande dame*¹, немного деспотична и высокомерна, не стесняясь рубит что хочет всем в глаза, полна той самоуверенности, которую дают богатство и высокое положение в свете, а при всем том эта женщина — воплощенное благородство и прямодушие. Под ее внешней суровостью скрывается всепрощающее золотое сердце, полное любви не только к своим — к моему отцу, ко мне, домочадцам, — но и ко всем людям вообще.

¹ знатная дама (*фр.*).

Тетушка так добродетельна, что я, право, не знаю, ставить ли ей это в заслугу, — ведь она попросту неспособна быть иной. Благотворительность ее вошла в поговорку. Она гоняет деревенских баб и нищих не хуже полицейского, но опекает их, как святой Винцент а Пауло.

Тетушка очень набожна. Никогда и тень сомнения не закрадывалась ей в душу. Все, что она делает, делается в силу непреложных принципов, и она никогда не колеблется в выборе пути. Оттого она всегда покойна и очень счастлива. В Варшаве ее за резкость прозвали «le bourgeau bienfaisant»¹.

Некоторые люди, особенно женщины, ее не любят. Но в общем тетушка пользуется большим уважением во всех слоях общества.

Плошов находится недалеко от Варшавы, а в Варшаве у тетушки есть собственный дом. Поэтому зиму она проводит в городе. И каждую зиму настойчиво приглашает меня к себе, надеясь меня женить. Вот и сейчас я получил от нее письмо, полное таинственных намеков, в котором она закликает меня приехать. Что ж, надо будет съездить: я давно не был на родине, и к тому же тетушка пишет, что стареет и хотела бы повидать меня, пока жива.

Признаюсь, не радует меня эта поездка. Знаю — тетушка жаждет женить меня, это ее заветная мечта. Но каждый раз, когда я гощу у нее, ее постигает горькое разочарование. При одной мысли о таком решительном шаге, как женитьба, мне становится страшно. Ведь это значило бы начать какую-то другую, новую жизнь, а меня и та, что прожита, порядком утомила. Наконец, ехать к тетушке мне неохота еще и потому, что меня несколько смущает ее отношение ко мне. Она видит во мне (как некогда все знакомые — в моем отце) человека исключительно одаренного, от которого следует ожи-

¹ «жестокой благотельницей» (фр.).

дать великих дел. Оставляя ее в этом заблуждении, я как бы злоупотребляю ее доверчивостью. Объяснить же ей, что от меня не только великих дел, но и вообще ничего ждать не приходится, значило бы предопределять будущее, которое пока только весьма вероятно, и притом нанести старушке тяжелый удар.

На мою беду, быть может, многие близкие мне люди разделяют мнение тетушки. Раз уж к слову пришлось, следует высказать здесь и мою собственную точку зрения. Но это будет нелегко, поскольку я — существо в высшей степени сложное.

Я родился на свет с крайне впечатлительными нервами, утонченными культурой многих поколений. В первые годы детства воспитывала меня тетушка, а когда она уехала на родину — ее, как принято в наших семьях, сменили бонны. Жили мы в Риме, на чужбине, а отец хотел, чтобы я хорошо знал родной язык, поэтому одна из моих бонн была полька. Она поныне живет у нас в доме на Бабуино — ведет хозяйство. Отец и сам усердно занимался со мною; особенно много времени я проводил с ним начиная с пятилетнего возраста. Я приходил к нему в кабинет, и беседы наши чрезвычайно способствовали моему развитию, пожалуй даже преждевременному. Позднее, когда научная работа, археологические изыскания и пополнение коллекций отнимали у отца все время, он пригласил ко мне учителя, патера Кальви, человека пожилого, глубоко верующего, с удивительно ясной душой. Больше всего на свете он любил искусство. Думается мне, он и религию воспринимал прежде всего с ее эстетической стороны. Созерцая в музеях шедевры искусства или слушая музыку в Сикстинской капелле, мой учитель приходил в настоящий экстаз. Однако в его страсти к искусству не было ничего языческого, в основе ее лежало не сибаритство, не чувственное наслаждение. Патер Кальви любил искусство той чистой и светлой любовью, какой, вероятно, лю-

били его Фьезоле, Чимабуэ или Джотто; притом в этом чувстве было много смиренного преклонения, ибо сам он не обладал никакими решительно талантами. Чем более он сознавал свое бессилие, тем глубже чувствовал красоту, созданную другими. Трудно сказать, какое из искусств он предпочитал, — мне кажется, он во всем любил прежде всего гармонию, отвечавшую гармонии его души.

Не знаю почему, всякий раз, когда я вспоминаю патера Кальви, передо мной встает тот старец на картине Рафаэля, который стоит подле святой Цецилии, словно заслушавшись музыки сфер.

Отец и патер Кальви скоро стали друзьями и оставались ими до самой смерти моего воспитателя. Именно он поддерживал интерес отца к археологии и к Вечному городу. Кроме того, этих двух людей сблизила привязанность ко мне. Оба считали меня необычайно одаренным ребенком, подающим бог весть какие надежды в будущем. Мне теперь часто приходит в голову, что я был для них обоих тоже своего рода гармонией, дополняющей мир, в котором они жили, и любовь их ко мне имела нечто общее с тем чувством, которое вызывал в них Рим и его достопримечательности.

Такая атмосфера, такое окружение не могли не сказаться на мне. Воспитывали меня довольно своеобразно. Я с патером Кальви, а часто и с отцом посещал картинные галереи, музеи, бродил по загородным виллам, руинам, катакомбам. Красоты природы производили на патера Кальви впечатление столь же сильное, как и чудеса искусства. И под его влиянием я рано научился чувствовать меланхолическую поэзию римской Кампаньи, гармоничность рисующихся на фоне неба арок и линий разрушенных водопроводов, чистоту контуров пиний. Мне, мальчику, еще нетвердо знавшему четыре правила арифметики, случалось в картинных галереях поправлять англичан, которые путали Карраччи с Кара-

ваджо. Латыни я выучился рано, это было мне легко, ибо, как житель Рима, я свободно говорил по-итальянски. В одиннадцать лет я уже высказывал суждения о мастерах живописи Италии и других стран, и эти суждения, при всей своей наивности, заставляли патера Кальви и отца обмениваться изумленными взглядами. Так, например, я не любил Риберы — чересчур резкие контрасты черного и белого немного пугали меня — и любил Карло Дольчи. Словом, в нашем доме и домах всех наших друзей я считался чудо-ребенком. Я слышал не раз, как меня хвалили, и похвалы эти разжигали во мне тщеславие.

Обстановке, в которой я рос, я обязан и тем, что нервы у меня навсегда остались крайне впечатлительными. Однако вот что странно: воспитание повлияло на меня не так глубоко, как следовало ожидать. То, что я не посвятил себя искусству, объясняется, наверное, отсутствием талантов, хотя мои учителя музыки и рисования были на этот счет другого мнения. Но почему ни отец, ни патер Кальви не сумели хотя бы привить мне своей страсти к искусству — вот над чем я часто задумываюсь. Понимаю я искусство? Да. Нужно оно мне? Тоже да. Но они его действительно любили, а я отношусь к нему как дилетант, и оно мне нужно не более, чем всякие другие приятные впечатления и сладостные утехи в жизни. В общем, у меня к нему склонность, но не страсть. Я не мог бы, пожалуй, обойтись без искусства в жизни, но всю жизнь не посвятил бы ему.

Так как школы в Италии оставляют желать лучшего, отец послал меня учиться в Метц, и я окончил тамошнюю коллегию без особых усилий и со всеми отличиями и наградами, какие только возможно было получить. Правда, за год до окончания я бежал к карлистам и два месяца бродил в Пиренеях с отрядом Тристана. Меня разыскали при содействии французского консула в Бургосе и отправили в Метц искупать вину. Впрочем, дол-

жен сказать, что покаяние оказалось не особенно тяжелым, ибо в глубине души и отец и наставники были горды моим поступком. И наконец большими успехами на экзаменах я скоро заслужил полное прощение.

Конечно, в такой школе, как наша, все учащиеся были за Дон-Карлоса и потому видели во мне героя. А так как я притом еще был первым учеником, то и верховодил всеми в школе, и никому из мальчиков в голову не приходило оспаривать мое первенство. Я рос в безотчетном убеждении, что и в будущем, на более широком поприще, меня ждет то же самое. Эту уверенность разделяли мои учителя и товарищи. А между тем что получилось? Многие мои школьные товарищи, которые не думали, не гадали, что когда-нибудь смогут со мной соперничать, сейчас во Франции заняли видное место в литературе, науке, политике, а я до сих пор даже не избрал себе профессии и, право, был бы в сильном затруднении, если бы мне приказали это сделать. У меня прекрасное положение в обществе, я получил наследство после смерти матери, получу когда-нибудь и от отца, буду хозяйничать в Плошове и — худо ли, хорошо ли — распорядиться большим состоянием, но уже самый круг этих занятий исключает возможность выдвинуться, сыграть какую-нибудь роль в мире.

Хорошего хозяина и администратора из меня тоже никогда не выйдет — это я отлично знаю. Ибо хотя я не собираюсь отказываться от этих занятий, но и посвятить им всю жизнь тоже не желаю по той простой причине, что мои духовные запросы гораздо шире.

Иногда я задаю себе вопрос: уж не обманываемся ли мы, Плошовские, не слишком ли мы высокого мнения о своих способностях? Но если бы это было так, то заблуждались бы только мы одни, а не люди чужие, беспристрастные. И наконец, отец мой действительно был и есть человек незаурядный, исключительно одаренный, а о себе я не стану распространяться, ибо это могло

бы показаться глупым тщеславием. Все же я искренне убежден, что мог бы стать чем-то неизмеримо большим, чем стал.

Взять хотя бы Снятынского, с которым мы вместе учились в Варшавском университете (отец и тетушка пожелали, чтобы университет я окончил на родине). Оба мы считали литературу своим призванием и пробовали силы на этом поприще. Не говоря уже о том, что меня считали способнее Снятынского, — ей-богу, все, что я тогда писал, было гораздо лучше и больше обещало в будущем, чем то, что писал Снятынский. И что же? Снятынский достиг сравнительно многого, я же остался тем же «многообещающим» паном Плошовским, о котором люди, покачивая головами, твердят: «Эх, если бы только он за что-нибудь взялся!»

Люди не принимают во внимание того, что не всякий способен сильно хотеть. Я часто думаю: не будь у меня никакого состояния, я был бы вынужден чем-нибудь заняться ради куска хлеба. Тем не менее остаюсь при глубоко внутреннем убеждении, что даже тогда я не использовал бы и двадцатой доли своих способностей. Но в чем же дело? Ведь вот Дарвин и Бокль были богатые люди, сэр Джон Леббок — банкир, большинство знаменитых людей Франции купаются в деньгах. Выходит, что богатство не только не мешает, но помогает человеку выдвинуться на любом поприще. Я даже склонен думать, что мне лично оно оказало большую услугу: уберегло характер от всяких вывихов, которыми грозила бы ему бедность. (Я этим вовсе не хочу сказать, что характер у меня слабый и, кроме того, борьба могла бы даже его закалить. Но, как бы то ни было, чем меньше встречаешь на дороге камней, тем меньше рискуешь споткнуться или упасть.)

И не лень виновата в том, что из меня ничего не вышло. Моя способность легко все усваивать равна моей любознательности. Я много читаю и много знаю.

Быть может, я спасовал бы там, где нужны железные стойкость и терпение, длительная, кропотливая и серьезная работа, но ведь легкость, с которой мне все дается, могла бы возместить это. И, наконец, никто меня не обязывает составлять словари, как Литтре. Когда не можешь светить с постоянством солнца, так можешь, по крайней мере, блеснуть на миг, как метеор, а это бездействие в прошлом и, по всей вероятности, в будущем!.. Мысль о нем вызывает у меня душевную оскомины, начинает одолевает тоска, поэтому сегодня писать больше не буду.

Рим, 10 января

Вчера на вечере у князя Малатеста я случайно услышал выражение «l'improductivité slave»¹ и вздохнул с облегчением, как те люди с больными нервами, которые, узнав от врача, что болезнь их известна и ею страдают многие, находят в этом утешение. Правда, правда, много у меня товарищей по несчастью! Не знаю, во всех ли славянских странах, я там не бывал, но сколько их у нас в Польше! Всю ночь я думал об этой «improductivité slave». Автор этой формулировки — человек неглупый. Да, есть в нас что-то такое, — неспособность проявить в жизни все то, что в нас заложено. Можно сказать, бог дал нам лук и стрелы, но лишил способности натягивать тетиву и пускать стрелы. Я охотно потолковал бы об этом с отцом — тем более что он любит такие беседы, — но боюсь разбередить его раны. Зато уж дневник мой, конечно, будет полон рассуждений на эту тему. И может, это хорошо — может, в этом будет его главное достоинство. Разумеется, я хочу писать о том, что более всего меня волнует, это вполне естественно. Каждый человек таит в себе какую-то свою трагедию. И моя трагедия — в фамильной improductivité Плошовских. В наше время

¹ «славянское бесплодие, пассивность» (фр.).

не принято выдавать такие тайны. Еще недавно, когда романтизм пышно цвел и в поэзии, и в сердцах, человек драпировался в свою трагедию, как в эффектно накинутый плащ, а теперь он носит ее, как егерскую фуфайку, под рубашкой. Но дневник — дело другое: в дневнике и можно и должно быть откровенным.

Рим, 11 января

Я пробуду здесь еще несколько дней и хочу воспользоваться ими для того, чтобы на страницах дневника обозреть прошлое и покончить с этим раз навсегда, прежде чем перейду к записыванию событий изо дня в день. Я уже говорил, что вовсе не собираюсь писать подробную автобиографию. Будущее в достаточной степени покажет, что я за человек. А кропотливо разбираться в прошлом противно моей натуре. Это занятие столь же докучливое, как арифметическое сложение: пишешь цифры одну под другой, потом проводишь черту и складываешь их. Всю жизнь я воевал с четырьмя правилами арифметики, а больше всего терпеть не мог сложение.

Однако надо же иметь некоторое, хотя бы самое общее представление о сумме всех слагаемых, то есть стать самому себе более понятным. Поэтому я продолжаю.

После университета я окончил еще сельскохозяйственную школу во Франции; агрономия давалась мне легко, но особого влечения к ней я не чувствовал. Я снизошел до нее, зная, что в будущем мне, несомненно, придется заниматься сельским хозяйством, но считал, что такие занятия никак не соответствуют моим способностям и духовным запросам. Однако учение в институте принесло мне двойную пользу. Во-первых, сельское хозяйство больше не будет для меня китайской грамотой и никакой управляющий меня не проведет. Во-вторых, благодаря практике в поле, на открытом воздухе, я накопил немалый запас здоровья и сил, благодаря чему